

Игорь Непомнящий
Оглянувшийся Орфей

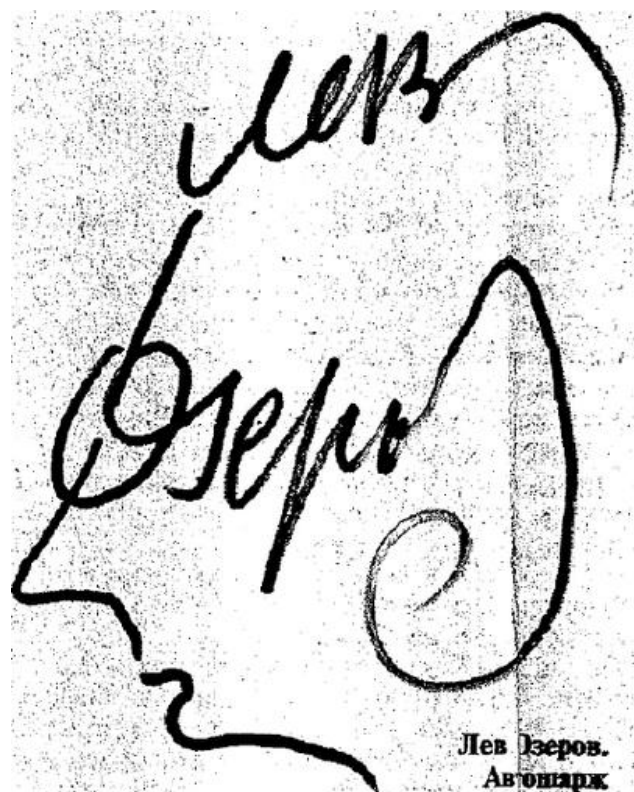
Два года назад ушёл из жизни поэт и литературовед Лев Озеров. Он был другом и автором нашей газеты. За три месяца до его смерти мы напечатали цикл стихотворений «Поздний час», который Лев Адольфович прислал в редакцию вместе с автошаржем. А мемуарный очерк Л. Озерова «Безмерность мира (Даниил Андреев)», появившийся на страницах «БИ» 15 марта 1996 года, стал последней прижизненной публикацией поэта.

Полтора десятилетия длилось творческое общение мэтра отечественной словесности и молодого поэта, преподавателя Брянской гимназии №1 Игоря Непомнящего (в начале 80-х — учащегося музучилища, позднее — студента БГПУ). Дружеское участие Л. Озерова в своей судьбе ощущал не только юный наш земляк. Ему обязаны многие из тех, кто связал свою жизнь с поэзией.

На похоронах Льва Адольфовича вдова раздавала его последний сборник стихотворений «Бездна жизни». Сегодня об этой прощальной книге размышляет Игорь Непомнящий.

«Писатели получают известность посторонними обстоятельствами», — писал Пушкин в заметке 1830 года о Боратынском, имея в виду ситуацию начала века минувшего. Увы! Многие писательские судьбы конца века нынешнего лишь подтверждают пушкинскую правоту: «посторонние обстоятельства» и по сей день едва ли не самый распространенный путь к успеху на поприще изящной словесности. Льву Озерову всегда претили шаги по этому пути; вспоминаю, как лет десять назад, выступая в ЦДЛ на вечере памяти Дм. Ковалева, с печалью и горечью говорил он о деловых людях, прокладывающих дорогу к известности с помощью «свинцовых локтей». Сам же, по собственному признанию, «в кадр не лез».

Кем был Озеров в «массовом» литературном сознании эпохи? Ответственный мемуарист, не устававший писать живую, в лицах и картинах, историю русской поэзии нашего столетия? Бесспорно! Глубокий истолкователь и неутомимый популяризатор русской классики? И это не предмет для дискуссии. А еще — профессор Литературного института, бессменный на протяжении десятилетий руководитель семинара переводчиков, пестун «юношей бледных со взором горящим», великий книжник...



Но не раз, говоря об Озере как о подлинном, глубоком и оригинальном лирике, приходилось мне сталкиваться с реакцией если не прямого отторжения, то во всяком случае некоторой неуверенности — его куда охотнее называли мастером и патриархом, нежели поэтом. Чувствовал ли он такое отношение, знал ли о нем? Думаю, да. Знание это проскальзывало не только в наших далеко не частых (две-три в год) встречах и в регулярной на протяжении последних 15 лет переписке, оно и в стихах. Не случайно в эпилоге книги «За кадром» поэт предложил беглый портрет того Озера, который существовал в стереотипном, растиражированном восприятии московской литературной и околотитературной сред: «Ты думаешь, что, мирный, тихий с виду, //Я только то и делал, что писал// Элегии, послания, пейзажи //И дятлом бил по книжному столу?»

Почему так? Почему дальновидная и многоопытная критика наша фактически прошла мимо этого самобытного лирического мира? Не потому ли, что поэзия Озера не соответствовала догматическому тезису, по существу — не менее формализованному, чем вполне официозная партийно-государственная идеология: поэтом можно быть или трагическим, или никаким. Не желал ограничивать себя ничем — даже и рамками трагического? Да что там! Сам поэт столько раз утверждал именно радость и восторг, любовь и нежность, как первейшие и необходимейшие источники вдохновения, сам формулировал: «Не огорчай людей, искусство, //И без того им трудно жить». Казалось, такая наивно — «непритязательная» эстетическая «программа» заведомо, как говорится, «по определению» неспособна выразить драмы современности, ее невероятные, катастрофические перегрузки, неразрешаемые и неразрешимые вопросы, ее нравственные ту-пики и религиозные искания. То обстоятельство, что Озеров неуклонно, от цикла к циклу, менялся, что драматическая нота звучала в его творчестве все пронзительнее, все, мощнее, осталось незамеченным критической мыслью последнего десятилетия.

Три главных книги Озера этого периода — «Земная ось» (1986 г.), «Гравюра на самшите» (1990 г.) и, наконец, «Бездна жизни», вышедшая в свет в начале 96-го мизерным тиражом в 500 экземпляров, — демонстрируют, как в недрах старой художественной системы, преодолевая ее изнутри, исподволь формировался и вызревал иной Озеров — поэт с подлинно драматическим видением бытия и трагическим дыханием. «Бездна жизни» — трудная книга. Мучительная. Благословляющая и проклинаящая. Книга — прощание. Лучшая книга Льва Озера. Большая часть ее лирических фрагментов создана в последние годы — на еще дымящихся обломках великой империи, в том почти неуследимом, но непреложно существе промежуток, о котором сам поэт сказал еще четверть века назад: «Перед смертью жизнь немного медлит. //Будто бы вода над водобросом. //Медлит и не хочет падать в бездну, // Но, отчаясь, падает...»

Он не желал признавать возраста. В «Земной оси», когда ему было уже за семьдесят, восклицал: «Жизнь на последнем перегоне...Я жить еще не начинал...» Пытался отодвинуть неумолимо надвигавшееся работой и в ней обретал спасение и успокоение. И в последней книге доминирует совсем не чувство итога, не мудрая умиротворенность старости, но бунтарский дух, «души отчаянный протест» — последний протест против последней же, ничем не устранимой участи... Попытка примирения с неизбежностью и абсолютное его неприятие — таков, думаю, главный конфликт этой книги, этого исповедального дневника.

В «Бездне жизни» дневник как будто напоследок, вознаграждая за верность и долготерпение, развернул перед мастером все свои возможности. Не утратив искони присущих ему преимуществ непреднамеренности и достоверности, поздний озеровский дневник обрел полифоническую мощь, зазвучал как крупная симфоническая форма.

Последняя книга поэта — книга последних, через всю жизнь пронесенных привязанностей. Море и горы, Тютчев и Пастернак, Шекспир и Шопен. Не только отдельные стихотворения — целые циклы посвящал им Озеров. Но среди имен привычных, вполне обжившихся в озеровском мире, неожиданно, но закономерно (закономерно, именно для позднего Озерова!) появляются и новые. Четыре стихотворения о Мандельштаме — раздумья о последних, уже ставших воистину апокрифическими, днях и посмертной судьбе гения.

Никогда прежде Озеров не был поэтом прямого социально-политического протеста. Чувство приятия жизни господствовало в его лирике, оттесняло на периферию скепсис и иронию. В «Бездне жизни» — принципиально иное. Вот одно из первых стихотворений книги — о третьем Риме на излете второго тысячелетия:

*О каком таком порядке
мы с тобою говорим,
Если Рим давно в упадке,
Если дотлевет Рим?
Горевать о том негоже,
Рим победой упоен:
На плакатах — те же рожки,
То же зарево знамен.
Нам и думать не пристало,
Что давным-давно горим,
Что торжественно и ало
Старый дотлевет Рим.*

Можно ли было ожидать от Озерова 60-70-х такой безапелляционной резкости, такой жестокой категоричности в оценках? Впервые опубликованное в сборнике «Гравюра на самшите», в цикле «Сцены из

рыцарских времен», стихотворение это вошло в «Бездну жизни» в существенно переработанном виде: за сопоставлением двух редакций — смена эпох, движение исторического времени: от Рима, который догорает и пирует, до Рима, который дотлевет. Дотлевет Рим, а в одной из провинций умирающей империи, «в глухой Чаронде тетка Дарья // Грызет последний свой сухарь». Уже это снимало для Озерова вопрос о возможности примирения с действительностью. Ахматова, неоднократно упомянутая на страницах книги, и тетка Дарья не были для него разведены на полюса общественной жизни; они стояли в одних очередях (в том числе, может быть, и в самых страшных, тюремных, о которых — в «Реквиеме»), они были от одной боли, жили одной судьбой. Любая проповедь элитарного в искусстве была ему глубоко чужда. Нет, он не придерживался коммуно-«патриотических» убеждений, многие беды дня нынешнего видел в недавнем прошлом, писал:

*Мы обнажили жизнь до основания,
Нас провели по кругу всех наук
Профессора из школы шельмования
И доктора заламыванья рук.*

Писал:

*Нам обрубали крылья —
Мы пели песнь топору,
мы так привыкли к насилью,
Как не привыкают к добру, —*

но и события последних лет, приведшие к разлучению людей и разъединению народов, никоим образом не приветствовал, воспринимал их не как прорыв в новое гуманитарное качество общественного бытия, а как хождение по хорошо знакомому замкнутому кругу российской истории: «Кого-то власть испепеляла, // Кому-то доставалась власть, И начиналось все сначала — // Благовонье и напасть». История замкнута. Но и пространство, представленное в последней книге Льва Озерова, тоже замкнуто, трагически обездолено, даже ущербно. Автор, когда-то воспев-дай «дороги новой поворот» и «неземное тяготение» (так были названы его ранние книги), неутомимый путешественник, по-юношески безоглядно влюбленный в земные дали и выси, — где он? Тюремный двор, казематы и стены больниц, «подземный переход», из которого «два выхода — и оба в неизбежность», наконец «пустошь» существования, «нечеловеческая пустыня, где «вместо парусов и рыб // Скопления песчаных глыб», — таковы координаты и символы, определяющие пространственный мир «Бездны жизни» — мир, где, перефразируя любимого Озеровым Тютчева, «Нельзя дышать, но можно жить».

Есть в русской поэзии не очень приметный, но весьма важный мотив — сиротства человека в истории. Без учета этого мотива невозможно понять

не только позднего Тютчева или Вяземского, но и Ахматову конца 30-х. Речь идет не о ситуации несогласия с эпохой, пожалуй, даже не о ситуации публичного разрыва с ней, а именно сиротстве, об одиночестве на миру, о покинутости на пирах исторических жизни.

*Пульсирует время. Упорно
Пульсирует время. Пока
Пульсирует время, валторна
Свой зов посылает в века.*

Зов валторны, ее мощный баритональный сигнал, посланный в века, в первую очередь был обращен к современникам но оказался не востребуемым ими. Не оттого ли последней книге Озерова так настойчиво, подобно рефрену, звучит тютчевская тема пережитой жизни? «Я жил в чужие, не мои года...» В трагическом монологе «И вспомнить некому. Нет никого...» — об этом же:

*Нет никого...» — об этом же:
Я не заметил, как прошли года.
Их раньше называли: диктатура,
Социализм, теперь совсем не так:
жестокый произвол, пора застоя.
Двойные имена, а жизнь одна.*

Поздняя оглядка Орфея... Он оглянулся и увидел, что Эвридика-жизнь не то сменила имя, не то и вовсе оказалась иной. Именно здесь — корни драматизма не только озеровской лирики, 80 — 90-х годов. Потому в сти хах «Бездны жизни» Я так безболезненно и : безбоязненно уступает место МЫ: «А ведомое выглядит пропащим, //Осиротелым, брошенным во тьму, //Как будто не живем мы настоящим// И не принадлежим ему».

«Бездна жизни» — книга о крайнем неблагополучии мира, о всеохватном его кризисе, трагедия духа, в ней разворачивающаяся, не эпохальной — всеисторической, всечеловеческой пробы. Книга, проникнутая грозowymi предчувствиями конца времен, -эсхатологическими томлениями. Отсюда — и обращение Озерова к библейским сюжетам и аллюзиям, ранее в его лирике встречавшимся лишь эпизодически.

Особая статья — включенные в «Бездну жизни» стихи о любви. О последней любви. Недаром один из эпиграфов ко второму разделу книги взят из хрестоматийно известного, тютчевского: «Ты и блаженство, и безнадежность». Указатель, ведущий к Тютчеву зрелой и поздней поры, неслучаен: нет, на моей памяти, более близкого аналога поздней любовной лирике Озерова, чем «денисьевский» цикл. Но осмелюсь сказать и о другом: внутренняя тема, организующая лирические фрагменты последнего сборника Озерова в единое целое, не знает аналогов вообще. Последняя любовь —

любовь перед лицом бездны жизни (на этот раз — без кавычек) — неотторжима от страдания, определена как «отчаянья...последний вздох». Чувство неизбежности грядущей разлуки с жизнью оборачивается чувством последней и окончательной разлуки с любимой.

Именно в любовной лирике Озерова особенно упорно заявляют о себе драматические столкновения между словом и немотой. Всю жизнь он самозабвенно верил во всемогущество слова, в предисловии к «худлитовскому» однотомнику 1978 года утверждал: «Без этой — пусть наивной — веры в то, что слово может сдвигать горы, писать нельзя». И, кажется, только на пороге небытия впервые позволил себе усомниться во всевластии слова, поколебаться в исповедуемой вере. «В упор, в глаза мне смотрит бездна, //Перед которой я молчу» — совсем не случайная обмолвка: быть может, заглянув в глаза бездомной темноте, ощутил он, насколько слаба и недостоверна речь человеческая в сравнении с необъятным молчанием мироздания.

Орфей оглянулся и увидел вокруг себя -страшный мир, «похожий на судилище и рынок», и ужаснулась Орфеева душа, осознав, быть может, несовместимость свою с этим миром, и заторопилась в «еловый храм, в незащищенный дом // Под куполом необжитого неба». Не в этом ли храме рождались слова «изгоняющей страх» молитвы:

*И от распада защиты,
А если все же от распада
Спаси не можешь, — и не надо,
Но покажи конец пути.*